

Уроки коллективизма, увлечение фотографией и военный быт

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1982>

🗣️ 22 апреля 2016

Собеседник

Кривоносов Юрий Михайлович

Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

Дата записи

Беседа записана 22 апреля 2016 и опубликована 25 апреля 2018.

Введение

Во второй беседе фотожурналист Юрий Кривоносов рассказывает о годах детства и юности. Он вспоминает, как его потрясли заснеженные крыши, увиденные через видоискатель фотоаппарата своего друга, и как после этого он смастерил собственный фотоаппарат из картонной коробки, катушек и линзы от очков. Юрий Михайлович описывает московский быт во время войны, рассказывает про бомбежки и дежурства на крышах, про голод зимой 1941–1942 года и работу на Трёхгорной мануфактуре. Завершается беседа описанием тяжелых условий службы на военном аэродроме в Ваенге.

О своих няньках и похоронах Маяковского

Юрий Михайлович Кривонос: Я хочу немножко вернуться в мое детство, потому что тут будет целая логическая цепочка. У меня было три няньки. Первую няньку звали Маня. Это была девчонка четырнадцати лет, которую взяли мои родители откуда-то из деревни. Она меня выхаживала, по-моему, года два, может быть, чуть-чуть больше. Она была очень непосредственная, очень славная. Она была певунья. Она все время пела, и в результате я, еще не начав, по-моему, говорить, начал петь. И первая песня, которую я запел, была «Стаканчики граненые упали со стола». Вот эта Маня меня научила. Ее папа устроил — в нашем же доме нашел ей комнату, потом он ее выдал замуж. У нее потом родилась дочка, она к нам в гости приходила, много лет дружили. Вот это моя первая нянька была.

После нее была вторая нянька — Паня ее звали. Это была жуткая баба, которая ненавидела советскую власть, ругалась. Стоило сказать слово «пионер» — она тут же говорила «говнер», и в таком духе все прочее. Она была недолго. Откуда она взялась и куда она делась, я не знаю. После нее появилась третья нянька. Ее звали Таня. Уже весной 30-го года она у нас была. Это документально, как говорится, установлено. Она была очень продвинутая женщина. Молодая женщина, но продвинутая. Она меня повела на похороны Маяковского. А похороны проходили в Клубе писателей на нашей улице, на Воровского. С одной стороны, мне не хватало еще до четырех лет чего-то — это был апрель 30-го года. Я помню кое-что. Помню, когда мы подошли к этому дому, там стоял огромный какой-то автомобиль, грузовик не грузовик, а такой фургон, и из него шланги шли по лестнице в помещение — там лесенка такая — в двери туда. Я потом уже со временем узнал, что это был лихтваген, который давал свет для киносъемки. Киносъемки же там шли. И второе, что я помню, — такая гора цветов. Зеленое что-то, зеленая возвышенность, гора цветов, и там сверху лежит человек. То есть я видел Маяковского.

Екатерина Андреевна Голицына: Потрясающе.

Ю. К.: Но самое интересное было то, что у меня было игрушечное ружьецо такое. А по углам этого самого стояли красноармейцы с винтовками к ноге.

” Я взял свое ружьецо и к ним пристроился. Торжественный момент такой, траурный, но люди начали улыбаться. Тогда, чтобы сохранить эту торжественность, командир подошел, сказал: «Мальчик, мальчик, мальчик, мальчик, мальчик», — меня отвел.

Таня рассказала об этом моему папе. А через много лет — я же этого не знал — всю эту историю мне пересказал папа. Я ее потом поместил в моей книге. Но Таня вскоре от нас ушла. В Москве открылся электроламповый завод, она ушла туда работать. И с этого момента мои няньки кончились.

Детский сад и уроки коллективизма

Думаю, что где-то в этот момент — чуть раньше или чуть позже — папа с мамой расстались. Папа уехал, мама осталась одна. Она работала в своем Заготзерно, которое потом стало Экспортхлеб, потом комитет заготовок. И что она со мной могла? В детский сад меня отдать. И она меня отдала в детский сад. Кажется, я вам уже говорил, что он помещался в этом же здании на Большой Дмитровке, где было [Заготзерно], с обратной стороны. Так я попал в детский сад. Мне уже было, значит, к тому времени четыре года.

Во-первых, я там получил, не там, а дома получил первый урок коллективизма. Я притащил из детского сада каких-то игрушечных человечков — они сгибались, что-то с ними делалось. Я их набрал и принес домой. Мама говорит: «Ты зачем их принес?» Я говорю: «Я с ними буду играть». — «А ты не подумал, что остальные дети тоже хотят с ними играть? Как же ты себе брал? Вас же там много, вы все должны играть». Ага, тогда я понял. До этого я же был один, а тут я узнал, что существует вокруг меня

человечество, с которым надо считаться. Конечно, я на следующий день эти игрушки отнес обратно и больше никогда чужого не брал. Меня вот так обучали потихоньку.

К этому моменту — не сразу, а может быть, через год в детском саду — я уже умел читать и писать. Почему? Потому что недавно была найдена записка, которую я написал воспитательнице, что я не могу прийти в детский сад, потому что у меня температура повышена. Причем в слове «повышена» была ошибка: буква «е» была пропущена — «повышна». И мама передала эту записку воспитательнице. Вот такой момент помню.

Потом момент. Коллективизм мне еще прививался чем? Там был так называемый дежурный по узлам среди нас. Один назначался дежурный по узлам — по очереди. В чем это заключалось?

” Когда днем мы ложились спать, нужно было раздеваться и разуваться. У многих были запутанные шнурки, и узлы надо было развязать. Вот для этого выделялся специальный дежурный по узлам, который всем развязывал эти узлы.

Это мне запомнился такой тоже момент коллективизма.

Из ребят, с которыми я был, запомнился только один мальчик, татарчонок, сын местного дворника. Его звали Алям. Он не очень хорошо говорил по-русски, но говорил, неточно выражался, поэтому он мне ярко запомнился. Он выделялся от других. И запомнилась мне одна девочка, ее звали Галя, фамилия у меня все время выскакивает, может быть, сейчас вспомню. Она потом через много-много лет мне встретилась. Почему? Она стала женой фронтového коллеги моей мамы, с которым они были на фронте. Капитан Лапшин. Она оказалась его женой. И тут оказалось, что мы с ней в детском саду вместе были. Потом она умерла рано, и я присутствовал на ее похоронах. Вот это мне так врезалось и запомнилось. Это детский сад. А это вот школа, детский сад закончен.

Детская колония и пионерский лагерь

Летом нас вывозили за город. Это называлось «детская колония». Мои вещички все имели вышивку. Мама вышила красными нитками, было написано «Юра 17». Семнадцать — это был мой номер там. «Юра 17». И на всем моем барахле такой номер был. Самое смешное, что потом, когда я был в военном училище, мой порядковый номер в журнале был номер семнадцать. Вот такая штука перешла. Как это было — за городом мы ездили — ничего не помню. Абсолютно!

Дальше пошел пионерский лагерь. А пионерский лагерь был тоже от этой организации. Уже мы были старше, нам сначала было восемь, девять, десять лет. В восемь лет я был в деревне, значит, где-то после девяти лет я уже стал в этом лагере. Это все ребята сотрудников были. Мы первые года два выезжали в Пушкино. Там они арендовали какую-то школу на лето, и там был пионерский лагерь в деревне Пушкино по северной дороге. А потом уже они построили свой пионерский лагерь, очень хороший, в Пахре. Но это потом.

Когда мы были в Пушкино, получилось нас четыре друга: я, Валька Цекалов, Гога Валешек и Володя Маршев. Мы очень все дружили. В какой-то момент Валька Цекалов приревновал меня к своей симпатии, которую звали Герта Вовченко. Это запомнилось накрепко. Знаете, как Ленский с Онегиным? Он меня вызвал на дуэль. В чем заключалась дуэль? Это тогда называлось «стыкаться». Стычка. Дрались на кулаках. Это как бокс, но только без перчаток. Условие было такое — дрались до первой крови. Мы — это Валька и я. У Вальки, значит, Гога секундант, а у меня секундант — Володька Маршев. Мы пошли в лесок, и на поляночке начался этот бой. Я помню выражение его лица до сих пор, как он выглядел и на меня тогда смотрел. Дрались мы на кулаках. В конце концов он мне расквасил не то губу, не то... — не помню, что он мне расквасил, — и по условиям бой закончился. Все пожали друг другу руки и как ни в

чем не бывало явились в лагерь, сказали, что я на сучок напоролся. Мне замазали, зашили чего-то — я не помню. На этом вся эта война кончилась, и дружба продолжалась. Мы потом встречались и с Валькой, и с Гогой. Я их видел после войны. Володю я не видел.

Знакомство с фотографией. Первый фотоаппарат

Сейчас я остановлюсь на Володе. Володя Маршев был небольшого роста, кругленькая головка, белое лицо и веснушечки очень веселенькие. Он был очень остроумный, веселый. Папа мне сшил пальто и сказал, что это на вырост, на четыре года. Володя тут же это пальто прозвал «четырёхлетний балахон». Я бы сейчас сказал, что он был похож на Винни-Пуха, по каким-то своим соображениям. Он сыграл в моей судьбе колоссальную роль. Об этом я сейчас расскажу.

Он жил возле Рижского вокзала. Сейчас он Рижский вокзал, а тогда он назывался... Вечно выскакивает из головы. Не важно. Вспомню. Там эти переулки Переяславские, и Переяславский переулок от нынешнего проспекта Мира туда отходит*. Четырёхэтажный краснокирпичный дом. Он жил на четвертом этаже. Нам было десять лет тогда. Была зима. Я к нему пришел в гости, а ему подарили фотоаппарат. Такой, как коробочка, он был. А в то время в видоискателях фотоаппаратов были такие проволочные рамочки. Через одну рамочку смотрели на другую. А у этого фотоаппарата был оптический видоискатель. Он мне дал посмотреть. Я стал через этот видоискатель смотреть через окно на улицу и был потрясен. Это было нечто невообразимое. Там же были только заснеженные крыши — больше ничего, — но, когда они получились в рамке видоискателя, это был кадр! Вот тогда у меня чувство кадра, видимо, появилось. И такая была погода, и было состояние, понимаете? То есть это была фотография, которая... И кадр, и состояние — это то, что самое важное, по-моему, главное в фотографии. И меня это потрясло. И вот тут во мне зародился фотограф. Я ему говорю: «Давай снимем!» Он: «Да что тут снимать? Тут ничего нет. Крыши одни. Что снимать-то?» Я говорю: «Ты ничего не понимаешь. Ты смотри, что это такое!» — «Нет, это ты ничего не понимаешь». Ну и ладно.

* Переяславский переулок идет почти параллельно проспекту Мира. От проспекта Мира отходит Средняя Переяславская улица. Также в этом районе есть Большая Переяславская улица и Малая Переяславская улица.

Тогда я взял, по-моему, журнал «Пионер», детский такой журнал. Там был чертеж, как сделать самому фотоаппарат. Из картона делалась коробочка и катушки. К катушке — какие-то ручки. Потом дырочка, линза от очков. Катушки крутились. Пленка для этого фотоаппарата была узколинейная. Короче говоря, я такой аппарат сделал, смастерил. Пленку мне приносил сосед. Сосед работал на студии «Союзмультфильм». Николай Васильевич Воинов. Он известный был очень кинооператор. В хрущевские времена был замечательный мультфильм про кукурузу, назывался «Чудесница». Остроумно и здорово сделанный. Вот он его снимал. Он снимал много, но это то, что я помню точно, адресно. Он мне приносил пленку.

” Я проявлял все это под столом, завешивал чем-то стол, залазил туда, проявлял, потому что в ванную нельзя, это коммуналка. Там тридцать человек жило народу, и это было исключено.

Поэтому я проявлял пленку, а он мне увеличивал. Где-то у себя брал и увеличивал. У меня где-то даже сохранилась одна фотография. Я ее считаю первой. Конечно, она не первая. Три девчонки, которые у нас там были. Им было уже, наверное, лет по пять, когда я их снимал. Не сохранилось почти ничего. После войны все пропало. Много чего пропало. Пропали эти фотографии какие-то вот такие, и книги... Я считаю, что это моя первая фотография из того, что сохранилось.



Первое фото, сделанное Юрой Кривоносовым. Соседские девочки Инга, Лида и Лиля. Москва, 1936. Фото из архива Ю. М. Кривоносова

” Снимать-то можно было только дома. На улице в Москве съемки были запрещены. Считалось, что если ты с фотоаппаратом, то ты шпион. Были запрещены съемки.

Конечно, я никуда не ходил с этим самодельным. Но через три года, когда мне было уже тринадцать, а не десять, я приехал на лето к папе в Краматорск, на Украину, и я его попросил купить мне фотоаппарат. Я знал, что есть какой-то «Комсомолец», который стоит пятнадцать рублей. Это хороший фотоаппарат, настоящий, а не эта картонная коробка, и я попросил папу мне купить. Он говорит: «Пойдем». И мы пошли. У них была единственная главная улица, на ней был единственный главный универмаг. И там продавались фотоаппараты. Он посмотрел на это все дело и купил мне профессиональный фотоаппарат «Фотокор». Не за пятнадцать рублей, а за сто девяносто. И плюс он еще накупил там какую-то... Пленку сушить раздвигалась такая штука. Печатные рамки. В общем, всякое, всякое, всякое. В прикладке это было все. И сказал: «Если ты поломаешь, я тебе больше покупать не буду». Этот аппарат у меня цел до сих пор. Он нормально работает. Это был 39-й год. Конечно, я тут же начал снимать там в Краматорске. Снял и папу, и сестренку, и несколько этих фотографий сохранилось. Они у меня в альбоме все сохранились. Это огромная память, конечно, того времени.

Потом я приехал домой, начал снимать своих друзей. Все это тоже мы снимали дома. И нужно было снимать автоспуском. Там вот такой рычажок спусковой, в нем была дырочка. Туда продевалась нитка, протягивалась куда-то, можно было за нитку потянуть — затвор срабатывал, там центральный затвор был. Вот автоспуск был такой — за ниточку. Поэтому на многих фотографиях, которые я видел у разных людей, видно, как эта нитка тянется. Так что тогда люди это использовали. Но здесь уже не надо было давать увеличивать, потому что девять на двенадцать — это альбомный размер, нормальный, уже все можно разглядеть. А печатали — печатная рамка была, в нее закладывался стеклянный негатив, тогда ведь на пластинках уже снимали, на него бумага прижималась крышкой с пружинками и выставалась на свет. И эта дневная бумага была очень медленная: два-три часа надо было держать на ярком свете, потом проявлялась, потом она фиксировалась (специальный вираж-фиксаж был), и таким образом закреплялась, получалась фотография.

Я кое-что пытался снимать в окно. Это потом оказалось очень важным (*усмехается*), потому что в моих «булгаковских» книгах эти фотографии есть. Потому что там был дом, где жила Елена Сергеевна. А это был Большой Ржевский переулок. Я говорил, тут на углу у нас была церковь Ржевской Божией Матери. Окружена она была огромными деревьями: ива какая-то колоссальная и какие-то тополя. И летом это была огромная шапка зеленая, в кронах жили птицы, пели. Напротив были переулки, мощные булыжником. А между булыжниками пробивалась травка. Я не помню, к этому времени улица Воровского была ли уже заасфальтирована или не была? Потому что я помню, когда хоронили Маяковского, по-моему, она не была заасфальтирована.

Отвлекусь в сторону. У нас были огромные подоконники, широкие, из белого мрамора. Этот дом был сделан капитально, шикарно. О нем можно рассказывать особенно. Мы забирались на этот подоконник и смотрели, что на улице происходит. И вот как раз в эти дни, когда были похороны Маяковского... Значит, я уже говорил. Потому что на телеге везли какую-то лодку. И я говорю: «Почему эта лодка разбилась о какой-то быт? Вон ее везут!» — и показываю. Вы обалдели? Действительно, везли лодку. И мне кажется, что телега стучала по булыжникам. Может быть, это у меня сдвиги в памяти.

Кроме этого, вид был, конечно, очень интересный. Но вот я чего не снял — там были [извозчики]. На углу этого переулочка была стоянка извозчиков, как теперь стоянка такси. Стояли они в таких повозках, один за другим, чинно стояли. Приходил седок и уезжал, следующий подъезжал и так далее. В общем, точно как такси. Они были в таких синих длинных-длинных пальто, затянутые кушаками. Шапки особой формы, какие-то полуквадратные, не знаю. Эти извозчики такие важные были. Они кормили лошадей из торбы овсом. У них кнуты были, они ездили. Вот это я помню. Это было при мне, но я почему-то эту стоянку не сфотографировал. Может быть, стоянка уже к тому времени, как появился фотоаппарат, кончилась. Может быть, я просто это проморгал. Это я не помню.

Но эта печатная рамка, в которой делалась печать вся, у меня куда-то девалась, и лет пять назад я рылся в каких-то старых чемоданах и нашел эту печатную рамку. Когда я ее перевернул, я обалдел. Там был заложен стеклянный негатив, где были сняты мои трое друзей. Это Валька, мой однополчанин по «Трёхгорке», где мы с ним вместе работали, и две девчонки. Одна из них была моя одноклассница Милка Трусевич, а вторая — Надя Гуркина, которая потом стала моей подругой, женой и так далее, и так далее. Потом она стала снова друг... Нет, сначала она стала невестой, потом женой, потом стала разведенной женой, потом стала просто другом, и на этом наше... Мы с ней не ругались, мы спокойно разошлись. Это целая история... На этом стеклянном негативе — три этих лица, которые я не видел. Это была последняя съемка, которую я не успел напечатать, уходя на войну. И я обнаружил вот через столько лет... Это был 11-й год. Сейчас 16-й, да? Вот и считайте, сколько прошло с того времени. Я сейчас их, конечно, отсканировал сканером, и они у меня в моей папке «История семьи нашей». Это все хранится. Это было удивительно. Но я ушел на войну, она осталась.



Мила Трусевич, Валя Тагац и Надя Гуркина. Москва, 1943. Фото из архива Ю. М. Кривоносова

Бомбардировки Москвы

Теперь про войну. Мы вышли через фотографию на войну. Первый год, первое военное лето у нас каждый вечер прилетали немцы и бомбили, за исключением дней, когда не было погоды. Объявлялась воздушная тревога, выли сирены, но мы уже к этому привыкли, на них внимания не обращали, шли на свой чердак, вылезали на крышу, ждали, когда немцы будут кидать «зажигалки», гасили эти «зажигалки».

Е. Г.: Страха не было уже у вас?

Ю. К.: Нет, нет. Мы адаптировались к этому. Моя мама, которая первый месяц или два ходила в бомбоубежище, перестала ходить во время тревоги. Она говорит: «Если убьют, пускай меня в моей постели убьют. Не пойду. Там жутко мрачно». Я один раз с крыши спустился в подвал в нашем доме, где было бомбоубежище. Я им рассказал, что наверху делается. Там жуткая атмосфера: они, как мыши, сидят, сверху что-то гремит, они ничего не знают. Если дом рухнет, они же не выберутся оттуда. Их всех или придавит, или они там задохнутся. В общем, и страх этот пропал. Короче говоря, целые ночи мы проводили на крыше. Когда наши зенитки начинали бить, мы залезали в чердак, потому что вот такие огромные осколки были — могло убить осколками наших снарядов зенитных. Тут мы прятались в чердак. На чердаке был толстый слой песка насыпан. Почему? Чтобы огонь не протек в случае, если «зажигалки»... На песке было мягко спать. У нас у всех были противогазы. В те минуты, когда было затишье — немцы то улетали, то прилетали, — мы клали противогаз под голову, ложились на этот песок, на нем мягко, и спали. Причем иногда мы ходили к своим друзьям, менялись. Скажем, я иду к моему другу Юрке на ночь, иногда он у меня. На дежурстве мы иногда ходили друг к другу в гости.

Днем мы ходили по квартирам, собирали лопаты, топоры, ломы, всякую прочую вещь, потому что нужны были инструменты для строительства оборонительных сооружений. Видно, ничего не было запасено. Так мы ходили по квартирам, это собирали, на улице в определенное место складывали. Потом приезжала машина, забирала. Мы опять тогда... Нас было четверо — бригада: Юрка Хибик, мой одноклассник, Костя, одноклассник, Милка Трусевич, одноклассница, и я. Мы четверо были от райкома комсомола, который был на нашей же улице Воровского, в доме двадцать четыре. Это было задание райкома. Потом

нам райком дал задание доставать лыжи, потому что нужны были лыжные батальоны. Зима начиналась. Не было ничего запасено, лыж не было. Мы ходили по домам, собирали лыжи. Нам отдавали свои лыжи. Все на оборону. Все же знали, что к чему, никто не жалел. Даже один какой-то спортивный чемпион дал свои замечательные, какие-то особые спортивные лыжи в этот общий котел. Вот это мы все сдавали, а вечером расставались и шли по своим домам.

Когда мы прощались, мы говорили: «Давай, до завтра». — «Да, если будем живы». Причем в этом не было никакой патетики, не было никакого пижонства. Это было естественное понимание, что нас могут убить каждый день. Потому что с июля 41-го до апреля 42-го мы были под бомбами почти каждую ночь, и кругом рвались они.

Хорошо «зажигалки» — ее можно скинуть. Я могу рассказать, что такое «зажигалка». Это цилиндрической формы алюминиевого цвета бомбочка, тупой нос, хвостик сделан, стабилизатор. Она была блестящая, очень красивая. Весила один килограмм. Их высыпали из кассеты, видимо, потому что они летели кучей, их были десятки. И вот этот зажигательный элемент, который зажигал ее, вспыхивал разным цветом: красным, синим, желтым. Когда летели эти бомбочки, по крышам скакали, то огоньки были желтенькие, красненькие, синенькие, и ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. Или недолетали, или перелетали. Их надо было вовремя в бочку с водой, или надо было кинуть вниз на улицу — там дежурили другие, они их песком засыпали. Горели они жутко. У них температура была чуть не три тысячи градусов. «Электрон» назывался этот материал, что ли. Он прожигал все на свете, все этажи, мог прожечь весь дом. Поэтому их важно было засесть на корню. А если фугаска упадет, то уже привет. Тогда уже кому чего попало. Нам фугаска не попала. Близко падали. Когда мы сидели наверху, чувствовали, как пятиэтажный дом, у которого стены метра полтора ширины, — вот такой толщины стены были у дома — вот так вот шатался взад, назад, взад, назад. Но был крепкий, ничего с ним не случилось. Наш дом не развалился. Какие-то дома разваливались. Были и какие-то попадания. Два района целиком были уничтожены при бомбежке. Это на Красной Пресне целый район домов и где-то на Серпуховке. Вот там целые кварталы вырубил немцы.



Первый авианалет на Москву, 22 июля 1941 г. Источник фото: wwii.space



Воздушный налет на Москву. 26 июля 1941 г. Источник фото: wwii.space

Когда уже был ноябрь, уже были близко немцы, они обнаглели, но летали очень высоко, потому что были подняты аэростаты заграждения довольно часто, стоял такой частокол из тросов. Поэтому низко лететь — это гибель. И спикировать из-за этого они не могли. Спикировать — это точное бомбометание, потому что он видит, куда кидает. А пикировать не могли. Один попытался пикировать, нарвался на трос, ему крыло просто срезало, как ножом, и этот самолет рухнул в Москву-реку. Там четверо, по-моему, в экипаже было. Они все были какие-то, видно, асы, потому что были в орденах, медалях. Они, конечно, угробились все. Мы знали, что были медали даже за Норвегию, еще за какие-то европейские бомбежки — то ли за Лондон... Потом этот самолет из реки вытащили, поставили на Театральной площади напротив Большого театра. Конечно, люди ходили все смотреть на этот самолет. Потому что обычно, когда сбивали самолеты, на куски разваливались они, а этот почти целый был — без одного крыла. В речку попал.



Сбитый немецкий бомбардировщик Ju 88 на площади Свердлова. Москва, июль 1941. Источник фото: wwii.space



Сбитый немецкий бомбардировщик Ju 88 на площади Свердлова. Москва, июль 1941. Источник фото: www.liveauctioneers.com

И вот они, конечно, обнаглели. В этот период они умудрились попасть в здание ЦК партии — где сейчас Администрация президента — этот дом на углу бывшей улицы Куйбышева, сейчас Ильинка, и тут выходил на этот бульварчик. Там конёк такой был. И по конёк ровно была срезана левая сторона, и рядом кусок здания обкома партии тоже срезан. Вот попали. Пробила одна бомба Каменный мост, но не разорвалась, в воде разорвалась. Потом в Кремль попала. Я не знаю, где, как, куда точно они попадали, но ничего страшного не произошло. Говорят даже, что пробила крышу Большого Кремлевского дворца, но не разорвалась. Это я по слухам только слышал, сам этого не знаю. Я знаю, что на нашей улице и вокруг делалось. Вот попала в театр Вахтангова — был разрушен целиком, от нас очень близко это все было. Попала бомба под памятник Тимирязеву у Никитских ворот. Иногда бомбы выли, но не разрывались. Один раз где-то кинули в районе Кудринки, она выла-выла, потом оказалось, что тонная бомба, которая не разорвалась. Не знаю, их потом извлекали каким-то образом. Иногда они кидали бочки пустые, пробитые со всех сторон, с дырками. Вой стоял — казалось, небо рушится. А это просто пустая бочка летела. Это они для страха кидали, для паники. Вот это вопрос налетов.



Руины театра Вахтангова на Арбате. Москва, 23 июля 1941 г. Источник фото: wwii.space

Военный быт

Мы в это время жили так. Мама первые месяцы войны работала очеркистом в журнале «Крестьянка». Я занимался этой оборонной деятельностью. Иногда мы выезжали копать эти самые рвы противотанковые куда-то. Иногда мы строили баррикады. Короче говоря, куда нас райком посылал, там мы и были, наша маленькая команда. Мало осталось ребят, ведь большинство эвакуировалось.

Уже к ноябрю все мосты через Москву-реку были заминированы. Лежали деревянные ящики с толом, проведены были провода для подрыва. И ждали, что если немцы будут наступать, то мосты будут взрывать. Я сам видел, как уложены были эти ящики. Прямо вот эти пролеты, там такие фермы, между фермами все это было заложено.

Мама там работала, а потом к осени журнал, по-моему, закрылся. Печатью командовал горком партии и обком партии. Ее послали работать ответственным секретарем многотиражной газеты Сталинской водопроводной станции. Так она называлась — Сталинская водопроводная станция. Это поселок Щитниково. Эта дорога, которая идет через Преображенскую заставу и туда дальше, я не помню, какое шоссе, Щёлковское, что ли. Вот там через десять километров была эта станция, и там поселок Щитниково.

В чем заключалась мамина работа? Она делала макет газеты, заметки, все прочее. Она была одна. Она ответственный секретарь и больше никого. Был ответственный редактор. Это был директор местной школы, который просто подписывал макет. Потом она везла это на Чистые пруды. Там было издательство.

Сейчас, по-моему, там также издательство. Там была газета «Вечерняя Москва», там был «Московский большевик», потом «Московский коммунист» она называлась — я уже не помню. В этой типографии печаталась газета. Когда тираж был готов (его было не так много, он помещался в санки у нее), она грузила и на этих санках тащила сначала на трамвай, а потом уже в Щитниково. Причем надо было или доехать на трамвае до заставы Преображенской. Там на углу, где сейчас метро, стояло дощатое, вроде сарая, здание. Это была автостанция так называемая, оттуда автобусы шли в Щитниково. Но часто автобусов не было, и висела бумажка: «Автобусов сегодня не будет». Война, зима. И она салазки эти тащила десять километров туда.

Е. Г.: Ничего себе.



Роза Ароновна Рискина, мама Юрия Кривоносова. 1930-е гг. Фото из архива Ю. М. Кривоносова

Ю. К.: Когда наверняка она знала, что не будет автобусов, или подозревала, можно было ехать по другому маршруту: там, где теперь Парковые улицы, был трамвайный круг, и от трамвайного круга через лес было пять километров всего идти. Это короче. Значит, саночки тащить с этими газетами. Иногда и я таскал с ней, помогал ей.

Уже был голод. Уже еды было мало. Я поступил в это время в автотранспортный техникум и зиму провел в этом автотранспортном техникуме. Ничему я там не научился, естественно. Там было два преимущества. Первое преимущество, что днем привозили обед. Что это было? Просто давали тарелку водички, и там плавают несколько зернышек пшеницы. Из пшеницы варили такой навар. Это была еда. Это было вкусно. И второе преимущество — там была военная подготовка. Мы там проходили так называемый всеобуч*,

что потом сказало на моей биографии.

* Всеобщее военное обучение

Иногда я ездил к маме в Щитниково. Иногда ей удавалось добыть что-нибудь покушать, а иногда нет. Тогда мы просто грели воду, делали чай, если было немножко сахара, с сахаром, а иначе — с сахарином. Сахарин — это такие кристаллы белые, сладкие, но какой-то металлический привкус был от них. Сахарин — это, не знаю, что-то такое производное. Сладкий был, но противный.

Эта редакция помещалась в каком-то доме, там было две комнатки: одна рабочая и вторая бытовая комната. Где-то с середины ноября, может, с начала ноября в ту маленькую комнату вселили какого-то дядьку. Не дядьку, а энкавэдэшника. Он был в форме. У него была винтовка, был наган или пистолет, я не помню. Каждый вечер он куда-то уходил, вооружившись. У него было какое-то свое задание. Утром он приходил и отсыпался. Вот это энкавэдэшник был. Мама располагалась в этой комнате, и я, когда приходил, тоже в этой комнате. Какие-то раскладушки были, не такие, как сейчас. И я помню, это было начало декабря. Однажды утром мы проснулись от артиллерийского гула. Причем мы уже знали, как рвутся снаряды. Но это не снаряды. Это стреляла наша артиллерия. Стоял просто гул страшный. Оказывается, началась артиллерийская подготовка для контрнаступления. Это было, видимо, 6 декабря, когда наши войска пошли в контрнаступление отгонять немцев от Москвы. Вот это утро я помню. Еще темно было. Этот грохот я запомнил.

Я ходил в техникум, мама тут работала. Уже после декабря, может быть, в конце декабря или в январе — этого я точно не помню — маму перевели работать в райком партии в отдел печати. Тоже какое-то партийное задание было, или ей предложили. В общем, она пошла туда работать. То ли Сталинский назывался райком партии, какой он сейчас, я не знаю. Вот того района, где метро Семёновская. Она пошла, время было голодное, а там давали пайки, хорошие пайки. Мы начали что-то кушать. Однажды мама приходит и говорит: «Сынок, вот такая ситуация. Или я остаюсь работать, и мы будем иметь этот паек. Или я оттуда уйду, и мы будем голодать на общих основаниях. Я не могу видеть, что там делается». Во-первых, кроме пайков, эти райкомовцы еще со всех предприятий тянули себе еду. Во-вторых, туда приходили подарки для фронта — они растаскивали эти подарки. Она говорит: «Я это видеть не могу. Моя совесть это не позволяет. Смотри, если уйду, то будем голодать на общих основаниях». Я говорю: «Уходи, мама. Уходи». Она ушла, и мы голодали на общих основаниях. Она вернулась опять в свою газету в Щитниково, и мы жутко проголодали всю зиму. Потому что на карточки, кроме хлеба, ничего не давали. Хотя на карточке была крупа и то и сё. Ничего. Где-то в апреле начали отоваривать карточки. Видно, был подвоз продовольствия — уже немцев отогнали. Нам отоварили за всю зиму все карточки. У нас было полно еды, но съедено это было очень быстро, потому что мы были страшно оголодавшие.

И еще один момент. Это было где-то в ноябре еще 41-го года. По-моему, это за 26-е число. На хлебную карточку 26-го числа вместо порции хлеба давался пуд муки в специально отведенных местах. Видимо, после того как в Ленинграде сгорели склады и народ остался голодный, решили рассредоточить по населению. Это мудро было. Мы с Юркой Хибиком стояли в Лебяжьем переулке, напротив Кремля, где был этот лабаз, где это выдавали. Всю ночь мы стояли в очереди, но, когда стала доходить очередь, оказалось, что осталось мало муки. Стали давать только на один талон в руки. У него было два талона (на него, на маму) и у меня. Было бы два пуда. Я не знаю, как бы мы их дотащили, такие были голодные.

Е. Г.: А пуд — это сколько?

Ю. К.: Шестнадцать килограмм. Значит, нам дали по пуду муки. Мы принесли. Это нас поддержало, конечно, какой-то период. Я научился печь лепешки без масла, без всего: на сковородке грел, делал какие-то лепешки. Всем вот этим держались. Короче говоря, зиму мы продержались.

Эти бомбежки, это я все помню. Помню последний налет. В нашем переулке, рядом Хлебный переулок — разбило дом, погибли люди, и это была последняя бомбежка. Больше я не помню, чтобы потом бомбили.

Работа на «Трёхгорке»

Наступила весна 42-го года. Я из техникума ушел, потому что надо было зарабатывать на хлеб и надо было получить рабочую карточку, на которую давалось восемьсот грамм хлеба. Это имело принципиальное значение. Иждивенцам давали четыреста, служащим — шестьсот, рабочим — восемьсот. Я не помню, когда мы были в этом техникуме, сколько нам давали: шестьсот или четыреста. Это я не помню. Но мне надо было зарабатывать и нужно было эту рабочую карточку получить. Я решил пойти работать на производство. А мама все там же работала, в этой многотиражке. Я пошел искать работу. В чем это заключалось? Помню, длинная стена или длинный забор, весь увешанный маленькими бумажками: «Требуется, требуется, требуется». Ведь все мужики — на фронте, женщины все — на производстве, кто могли. Дети, ребяташки за станками на ящиках стояли. Вся страна работала. Куда было деваться? И вот эти «требуется, требуется, требуется» — глаза разбежались. Чего? Куда? Вижу, в одном объявлении какая-то пестрая тряпочка, яркая. Привлекло мое внимание. Я подошел. Написано: «Комбинат хлопчатобумажный «Трёхгорная мануфактура» производит набор рабочих и молодежи в школу ФЗУ». Школа фабрично-заводского обучения. Я тогда записал, где это. Это было тоже недалеко — на Пресне.

Пошел наниматься, пришел в эту школу. Это было красное каменное здание, двухэтажное или трех. Помню, как сейчас. А оно и сейчас, по-моему, стоит. Пришел туда, записался. Мне говорят: «Вот тебе обмундирование». Дали мне какие-то штаны, гимнастерку военную, брюки военные, бушлат, какую-то шапку, или шапку не дали, не помню. И сказали: «Иди прямо на комбинат, на проходной покажешь вот эту бумагу, и тебе скажут, куда идти». Пошел. Прихожу туда, а тут: «Иди туда, туда, туда. Там ситценабивная фабрика. Ты назначен в механический цех». А я еще никто — я еще не учился. Прихожу туда, мне говорят: «Я мастер. Меня зовут Василий Иванович. Этот — фамилия Шведов». Другой был какой-то мастер, но не мой. Мой был мастер токарей — Василий Иванович. Фамилию потом, может быть, вспомню.

Стоят три станка. Самый крайний станок маленький. Он говорит: «Вот этот станок. Становись за этот станок. Это вся твоя учеба. Я тебе сейчас покажу, чего нажимать. Будешь точить заклепки для цепей, которые двигают печатные и текстильные машины. Надо рассверлить, просверлить, отрезать». В один день он мне все показал. Это моя наука была. Я научился напильником... В общем, слесарные, столярные, токарные дела я там изучил. Вот это была моя учеба. Сразу на производстве я встал за станок. Рядом со мной еще было два станка. На одном станке стоял годом меня младше Валька Тагац. Его фамилия Тагац была. А один станок был свободный. Потом Вальку передвинули на тот станок, а это большие уже станки, и меня передвинули на большой. А на этом станке появился еще один парень. Только сегодня я вспомнил его фамилию — Гаврилов. Мишка Гаврилов. Его тоже на этот станок работать.

Работа была у нас такая: мы были универсалы-токаря, наше дело было делать запчасти для машин. Когда они выходили из строя, нужно было делать новые части, хвостовики для валов, для машин, какие-то втулки. В общем, токарная работа. И были заготовки чугунные. Чтобы только ободрать эту заготовку подчистую, нужно было два-три часа. Это была большая, тяжелая работа. Валька где-то раздобыл наконечники победитовые для резцов. Мы в кузницу отдали, нам отковали резцы с этими победитовыми наконечниками. Победит — это такой был металл очень твердый. Потому и назывался «победит», что он всех победит, да? Если вам надо было снимать пять-шесть стружек нормальным резцом, то победитовым — за одну стружку проходило. Мы сэкономили огромное количество времени при этом и очень быстро делали. Кроме того, мы старые, негодные запчасти, вместо которых надо было делать новые, убирали (у нас склад был под цехом), потому что потом детали, которые были негодны к этому станку, могли подойти к другой машине. По размену. Там может быть другой размер.

Мы рационализировали, как могли. Если нам давалось задание на смену то-то, то-то, то-то, мы могли это сделать, скажем, не за восемь часов или за десять часов, а за три часа. Можно было за это время сбегать в кино. Мальчишки мы были. Что мы там вытворяли — это трудно сказать.

При комбинате Трёхгорном был военно-учебный пункт. Когда меня там прикрепили, отправили на военно-учебный пункт. Мне сказали: «Будешь проходить курс всевобуча». А я сказал: «А я его

уже проходил. У меня справка есть». — «А у нас нет младшего командира. Мы тебя помкомвзвода берем, будешь обучать сам, раз ты уже ученый». И я обучал, ходил вечерами после работы, независимо от смены, и обучил за два года, что я работал на «Трёхгорке», два взвода снайперов и один взвод стрелков, будучи помкомвзвода. Я их водил на стадион, рядом стадион был на Пресне. Мы там что-то делали. Потом ездили куда-то на стрельбища за город, там стреляли. В тир ходили, стреляли. Короче говоря, я хорошо научился сам стрелять уже. Это была моя, так сказать, общественная работа. Мама продолжала работать в своей редакции. Так прошел 42-й год.

Начался 43-й год. Наш друг, один из нас четверых, из нашей бригады, которая от райкома была, Юрка — я большой кусок пишу про него в своей книге — попал в десантную диверсионную группу, их забросили к немцам в тыл, и он там погиб в 42-м году. Костя оставался, Костя тоже работал на заводе «Красная Пресня». Может быть, рассказывал, как я ему добывал награды и все прочее?

Е. Г.: Да.

Проводы мамы на фронт

Ю. К.: Вот этот Костя. Он работал тоже на заводе «Красная Пресня», но мы с ним все очень хотели воевать. Мы с ним пошли в горком комсомола. Мы туда были вхожи еще с 41-го года как активисты. Там в это время шла комиссия, которая отбирала ребят для партизан в Белоруссию. Этим ведал секретарь ЦК Белоруссии Пономаренко. И нас зачислили. Может быть, я уже это рассказывал. Нас зачислили, сказали, что «мы вас вызовем». Я пришел домой и говорю маме, что ухожу в партизаны. А тогда к этому относились не как сейчас — в армию. Это было элементарно. Вся страна воевала. Трудно передать сейчас, что это было. И осмыслить даже трудно мне теперь, как это было.

Она говорит: «А чего я тут буду делать? И я пойду на фронт». Она пошла то ли в обком партии, то ли в горком партии, ей сказали явиться туда-то и туда-то, и я ее поехал провожать. Сейчас я немножко вернусь. До этого, когда были смурные дни, когда немцы были очень близко у Москвы в ноябре, у нас висело два небольших вещмешочка с самым необходимым. Мы считали, что уйдем с войсками, если в Москву... Потому что каждый день сообщали: немцы взяли такой город, такой город. Киев уже взяли. Могли и Москву взять. Мы откуда знаем? Ну, мы и сказали: «Мы будем в Москве до конца. Если Москву начнут брать, мы с войсками уйдем». Удалось бы нам это, не удалось — это уже дело другое. Один из этих вещмешков мама забрала на фронт-таки. В районе «Электрозаводской» был сборный пункт. Приехал человек, который собирал. Потрясающее свойство человеческого мозга: я помню его фамилию — капитан Имханицкий. Я его видел один раз в течение одного часа в 43-м году. Запомнилась его фамилия. Он набирал людей в газету 3-го Украинского фронта. И она уехала.

Самостоятельная жизнь

Я остался один. Продолжал работать на «Трёхгорке». Вскоре передо мной встала проблема: надо стирать белье. Белье я никогда не стирал. Воду нагреть была большая проблема, но как-то я воду нагрел. Было корыто. Стиральных досок тогда не было или у нас не было. Я стал стирать простыни, простирал пальцы почти до костей, окровавленные руки. Это был какой-то ужас. Я же ничего не умел этого делать. Короче говоря, так я постигал жизнь одинокого холостяка.

На фабрике нас кормили, потому что нам как фабзайцам (нас называли «фабзайцы») полагался какой-то обед. Еще были такие талончики УДП — усиленное дополнительное питание. За хорошую работу начальник цеха давал такой талончик, и ты мог пойти еще поесть что-то. УДП. Но мы их называли «умрешь днем позже». Алкаш был наш начальник цеха. К вечеру он уже накирлялся — мы к нему: «Дядь Сереж! Дай талончики!» И он давал талончики. Мы шли подкрепляться.

Репортаж и фильм о «Трёхгорке»

Там готовили потрясающие суточные щи из кислой капусты. Вкусноты неопишуемой! Может быть, война, голод, не знаю. Я их обожал. Фантастика. Прошло много лет. Это уже были 60-е годы, может быть, 70-е. Мы с моим напарником пришли на «Трёхгорку» делать репортаж о «Трёхгорке». Я уже там ведь все знал. Знал, куда идем: в этот цех, в этот цех. Знал, где более цветную материю печатают. Там красиво. В общем, мы пошли на «Трёхгорку», снимали целый день. В обед мы пошли в столовку. Вы можете себе представить — те же суточные щи! Вкус один к одному! Через десятилетия! Это было замечательно. И был у нас большой репортаж в «Огоньке» о «Трёхгорке»: на обложку мы какую-то красивую то ли ткачиху, то ли прядильщицу сфотографировали.

Потом прочитали этот материал на телевидении и решили сделать сюжет о «Трёхгорке». Меня нашли, значит, кинооператор, режиссер... Передача называлась «Ленинский университет миллионов». И меня забрали. Редакция меня отпустила на пару дней. Меня стали водить по цехам, туда, где ФЗУ было. Я им все показывал, рассказывал, объяснял. Честно говорю, наревелся я, естественно, потому что всё вспоминалось: и ребята, и погибшие, и все. Но фильм был сделан такой. А дальше была фантастика. Фильм этот показывали в какой-то определенный день и определенный час. Причем тогда ведь один раз покажут и все, больше уже никогда ничего не повторится. А меня как раз в те дни, когда этот фильм должны были показывать, послали в командировку в Афганистан сопровождать правительственную делегацию. Мы поехали в Афганистан. Я думаю, что ничего не увижу. Визит был рассчитан, скажем, на четыре дня, да? А потом успели договориться, подписать что-то и сократили на один день этот правительственный визит. Короче говоря, мы вылетаем в тот день, когда должны были показывать фильм. Мы же сопровождали правительственную делегацию, поэтому сажали нас во Внуково-2. С нами был корреспондент «Правды», по-моему, Демченко его была фамилия, и его ждала машина. Я ему говорю: «Вы не можете проехать так, чтобы мимо меня? Может, я успею». В общем, он поехал мимо меня, ему по пути было. Уже здесь в этом доме я жил. Привезли меня. За полчаса до начала фильма я успел домой. Я этот фильм смотрел, сидел, ревел, как ребенок, потому что вся молодость, все эти годы, вся эта война передо мной проходила. Это я отвлекся на «Трёхгорку».

Посылка от мамы

Когда я остался один... Работали же мы днем и ночью, без выходных. Очень много приходилось нам вкалывать, но кормили нас прилично — сносно, можно сказать. УДП — «умрешь днем позже». И мама, уже будучи на фронте, — где-то на Украине была в селе Екатериновка, — прислала мне вот такой тючок.

Причем у них газета выходила на многих языках: на русском, на украинском, на молдавском, на казахском, на башкирском, на татарском, на узбекском. То есть 3-й Украинский фронт был многонациональный, и для всех национальностей выпускались газеты. Представляете, какая это была работа? Они же двигались вместе с фронтом все время, во фронтовых условиях это все делалось. Она была в паре с Ольгой Ландер. Ольга Ландер была фоторепортером. Они всегда и селились вместе. Ольга на заданиях — она ее архив соблюдает, она в редакции. Они продвигались. Когда какие-то сотрудники ехали иногда в Москву или через Москву в свои республики, через них мама пересылала иногда деньги какие-то (их было очень мало у нее), иногда какие-то продукты, письмо.

И вот она прислала пакетик. Там оказалось немножко сахара колотого, кусочек сала и кукурузная крупа. Я ночью, когда газ был немножко лучше, потому что газ очень плохо горел, решил варить кашу. Взял кастрюлю, насыпал крупу, залил водой, поставил на газ, варю. Каша полезла. Беру вторую кастрюлю, откладываю, ставлю рядом вторую кастрюлю. Полезло из обеих кастрюль. Беру третью. Оказывается, кукуруза жутко разваривается. Короче говоря, в трех кастрюлях я сварил. Наверное, я неделю ел эту кашу. Конечно, потом стал варить ее более размеренно.

Работа на заводе «Красная Пресня»

Мама продолжала быть на фронте. Я продолжал работу. Кое-что мы снимали, дома снимали. Аппарат у меня работал, но куда-то выйти было нельзя. Только все снимали друг друга на память. И где-то в 43-м году, осенью, под ноябрьские праздники меня берут в армию. Хотя у нас какая-то броня была, но я не знаю, то ли я отпросился. Так как я был связан с военкоматом, ввиду того что я преподавал в военно-учебном пункте, меня знали, у меня был блат какой-то. Короче говоря, меня взяли и решили, что меня... Был набор такой, такой, такой. В пехоту из военкомата меня не определили, а в школу артиллерийской инструментальной разведки, АИР. В военный какой-то пересыльный пункт едем, оттуда во вторую пересылку, в третью пересылку. В третьей пересылке выстраивают и говорят: «Станочники! Шаг вперед!» Мы все вышли: станочники, токаря, фрезеровщики. На машину в военкомат, на военный завод точить мины и снаряды: нет боеприпасов, не хватает.

Так я попал на завод «Красная Пресня». Там получилось очень интересно. Там так: станок, операционная работа. Стоят в два ряда станки друг за другом. Перед каждым станком ящик деревянный и сзади ящик. Тот, кто впереди, протачивает свою операцию, только одну, кидает тебе сюда. Ты протачиваешь свою операцию, кидаешь назад. И так далее, и так рождается... Там несколько проточек было. А наладчик был тот парень, который у меня во всеобщем учился. Я уже не помню, как его звали. Я ему говорю: «Слушай, ты мне вот что сделай. Ты мне увеличь подачу и прибавь стружку». Он говорит: «Станок не потянет». Я говорю: «Потянет. Я же универсал, я знаю. Станок потянет, ты не бойся. Давай попробуем». Он попробовал, действительно, у меня потянуло это все. И тогда впереди парень, который мне точит, наточит такую кучу этих мин (мины точили), я у него беру их, раз, раз, раз, перекидал, у меня пусто. У меня же быстро идет работа. И я иду, гуляю. Прихожу — полный ящик. Раз, раз, раз. За день у меня опять пустой ящик. Опыт! Опыт! Короче говоря, сколько-то я был на этом заводе.

Служба в ВВС Северного флота

За это время у меня уже сварились любовь с Надей. Мы уже с Надей вместе жили. Это был январь–февраль 44-го года. Меня в военкомат забирают с этого завода, говорят: «Сейчас хороший набор — учебный батальон военно-воздушных сил Северного флота. Пойдешь в морскую авиацию». Я говорю: «О! Пойду-пойду». Меня определяют в этот учебный батальон, мы едем на север. Может быть, я это уже и рассказывал. Это был пассажирский поезд, но полка меньше, чем ребят, а спать надо.

” В Ярославле или где-то поезд остановился. Мы выскочили, разломали станционный забор, настелили его, как нары, в вагоне, и все уже улеглись, всем было место.

Причем впереди поезда и сзади шла платформа с счетверенными зенитными пулеметами. Это «Максим», четыре вместе были сделаны. Это можно увидеть в фильме «В шесть часов вечера после войны», там Ладынина на этом пулемете. И сзади такая же платформа для охраны. Вся дорога испещрена была воронками. Значит, сильно бомбили. Но мы проехали без бомбежки.

Привезли нас в Мурманск. Вокзала нет. Через город везут — стоят только коробки домов, пустые окна, все разбито, все пробито, все сожжено. Деревянный старый Мурманск весь сожжен. Нас повезли по каким-то горам, сопкам и привезли в Ваенгу. Теперь это Североморск. Но по дороге происшествие. Это грузовик. Мы в кузове сидим. Вдруг машина останавливается, шофер кричит: «Всем спрыгнуть в левую сторону, никому в правую! Всем в левую сторону!» Спрыгнули. Оказывается, его занесло, и переднее колесо уже над пропастью. «Оттаскивать машину!» Оттащили машину, сели, думаем: «Ну и ну».

Привезли нас на аэродром. Вход вниз, землянка. Теплая землянка, сухая, но пахнет прелью. Поместили нас в этой землянке. В этот же день нас повели в баню, обстригли. Потом такая экзекуция: стол, вас кладут на стол, и какой-то матрос бритвой у вас сбивает волосы, где бы они ни росли. Начисто обривают, видимо, чтобы паразитов не занесли. У всех всякое бывало, потому что тогда швигость была и все. Потом

в баню, потом нас переодели. Мне досталась форменка какого-то старшего матроса, потому что была звездочка и полосочка здесь. Вся одежда у нас была б/у. Шинели только, по-моему, были новые. Поселили нас в этой землянке. Матрасы были набиты не стружкой, а деревяшками из-под долота. Когда рубят, вот такие кусочки. Этим были набиты матрасы. А подушки были набиты стружкой из-под рубанка. Одежда была нормальные, байковые одеяла. Но в землянке было тепло. Она отапливалась. И начали мы в этой землянке существовать.

Каждый день нас вывозили на аэродром на работу. Занятия были, курс молодого бойца — по воскресеньям. В воскресенье мы немножко маршировали и читали уставы. Это была наша учеба в воскресенье. Все остальные дни — на аэродроме. Чистили взлетную полосу, чистили рулежные дорожки, капониры раскапывали после снегопадов, подтаскивали к самолетам боеприпасы: ящики с патронами, с пулеметными лентами. Бомбы подтаскивали, но маленькие. Большие бомбы мы не таскали.

Бомбы были круглые, они были в деревянных оплетках из реечек. Тонкие железные полоски, прикованы эти деревяшки, и внутри лежит бомба. На каждую бомбу такая деревяшка. Эти бомбы были сложены штабелями по краям аэродрома. Когда нам привозили обед, мы на этих бомбах сидели, потому что на снегу неуютно, а больше негде сидеть. Сидели на бомбах и ели. У нас у каждого был котелок с крышкой. В котелок давался суп, в крышку давалось второе, и была кружка — в кружку давали компот. Причем завтракали и ужинали мы около землянки, там была столовая близко, а на аэродром нам привозили обед.

Фронтвой паек

Не помню, я рассказывал или не рассказывал, но нам сказали, что кормить нас будут пайком «фронтвой краснофлотский 4А». Когда в первое утро нас повели на завтрак, нам дали по стакану сладкого чая, хлеб и масло. Больше ничего. Мы сказали: «Ну и фронтвой паек». И тут же был стишок сложен, я его не скажу: он неприличный. Повезли нас на аэродром. На аэродроме нам привезли первое, второе и третье. Хлеб был без нормы, что в то время казалось чудом. На ужин нас повели опять на камбуз, в столовку, на ужин — первое, второе и третье. Оказалось, что это морская традиция: на завтрак — чай, масло, хлеб, а обед и ужин из трех блюд. Это потом я увидел и на военных кораблях, на которых мне приходилось бывать. Когда снимался фильм «Полосатый рейс», даже на этом теплоходе то же самое, хотя и гражданский. Морской паек флота. Такой закон.

Во-первых, мы отъелись, конечно, потому что мы были изголодавшиеся. У меня была потеря зрения. Один глаз у меня был ноль пять, один — ноль шесть. Говорят, потому что не было сливочного масла и сахара. Сахар — я не сильно переживал, а вот отсутствие сливочного масла я очень переживал. Там я откормился. Забегая вперед, могу сказать, что когда в училище мы прибыли и прошли комиссию, то у меня уже один глаз был единица, а второй — ноль девять. Вот что значит питание. Что значит недокорм. И как раз приехала какая-то врачиха, которая отбирала людей на стрелков-радивов. Их выбивало жутко, нужны были стрелки-радивы для морской авиации, главным образом для штурмовиков и бомбардировщиков. Всех, кто по здоровью проходил, забирали туда. А нас оставляли в авиационно-техническом, на техников разных, на специалистов, но не на стрелков. И она посмотрела: «О, один глаз единица!» Потом посмотрела: «А у вас же было ноль пять, ноль шесть! Нет, раз у вас раньше так было плохо, то я боюсь вас брать. Я вас не возьму в стрелки-радивы». Может быть, это мне спасло жизнь.

Условия службы. Боевые дежурства

Мы несколько месяцев там вели еще... Это называлось «крутить хвосты самолетам». Когда те пристреливали пушки и пулеметы, то там какие-то мишени, в них стреляли, нужно было хвост туда-сюда двигать для пристрелки. Это называлось «крутить хвосты самолетам». Это мы делали.

Чтобы перекурить и погреться, надо было становиться за хвост самолета, потому что негде, голое место,

а от ветра за хвост встанешь — не продувает. Там были американские самолеты. «Бостоны» были, торпедоносцы, а эти были самолеты-истребители «Киттихаук» и «Аэрокобра». Мы говорили: «Кобра — это говно-самолет». У него передняя одна лапа, а хвост высоко. Погреться нельзя. А вот у «Киттихаук» хвост на земле. Встанешь и погрелся (*смеется*). Ко всему мы привыкали.

Что могу я рассказать об этом периоде? Мы приехали — еще была полярная ночь, а потом постепенно рассеялась, стал полярный день. Ночью стоишь в карауле — солнце светит, только никого нет. И еще полярная ночь.

Я был вообще прибауточник. Когда мы работали, надо было огромные глыбы льда оттаскивать, надо было валуны какие-то выкорчевывать на аэродроме. Под это дело я придумал такое: «Эх, ухнем, эх ухнем». Придумал какие-то, как теперь говорят, речевки. Некоторые были очень неприличные, но под них очень хорошо работалось. Я имел случай как-то чего-то запеть, и тут же меня назначили ротным запевалой. Это мне дорого стоило, потому что по воскресеньям пока мы маршировали, я чего-то запева, в другие дни не до песен было. Когда я потом попал в училище, то за мной уже шла слава, что я ротный запевала. Меня и в училище поставили ротным запевалой. Но я потом отдельно расскажу эпизод с ротным запевалой в училище.

Здесь были очень напряженные боевые дни. Когда приходили сведения, что пришли какие-то немецкие караваны в Норвегию, то начиналась операция по их разгрому. Утром взлетали сначала торпедоносцы — это американские «Бостоны» и наши Ил-4, по-моему, они назывались. Тоже торпедоносцы, двухмоторные. Начинали ходить кругом. За ними взлетали пикировщики. Два полка этих, два полка этих. Пикировщики ходят вокруг аэродрома широким кругом. Потом взлетают штурмовики. Все пристраиваются друг другу в хвост. Последними взлетают истребители. Это по количеству горючего, понимаете? Почему эти последние? Чтобы у них горючее было.

Вся земля трясется от гула моторов. Вы представляете, сколько моторов над аэродромом? Просто ходуном земля ходит. И вся эта армада отправляется на Норвегию. Туча самолетов уходит туда. Мы сидим, ждем, через час-полтора начинают возвращаться истребители — первые. Дают пулеметные очереди. Сколько очередей — столько они самолетов сбили. Потом начинают возвращаться тяжелые машины. Салют из пушек — сколько кораблей потопили. Но это же не как сейчас у нас: сел самолет, отъехал, следующий самолет. Они же на излете горючего, они друг за другом должны садиться. Один садится, отруливает. Другой садится. Друг за другом, как пчелы в улье. Вдоль взлетной полосы были выкопаны такие окопы, щели. Мы сидели в этих щелях, потому что, если разбитый самолет садился, его начинало крутить, швырять, этим самолетом могло всех разнести. Если подбитый самолет, мы должны были выскочить, быстро сбросить его в сторону, сразу садится следующий. Понимаете, какая штука? Это была очень напряженная штука.

Е. Г.: То есть вы организовывали, помогали...

Ю. К.: Мы помогали посадке. Обеспечивали благополучную посадку. Иногда прилетали самолеты все в дырках. Свист стоял, когда он садился, как будто сирены выли. Через эти дырки воздух вырывался. Иногда вообще чуть ли не на одном крыле, как пелось... В общем, разодранные, разбитые самолеты. Тогда нам приходилось быстренько их в сторонку, в сторонку, в сторонку. Потом постепенно все садились, разруливались. На этом день операционный кончался.

Помню, что с одной операции летел самолет. Было видно, что издалека кто-то с парашютом выпрыгнул, а потом этот самолет зашел, сел. Оказалось, что штурман выпрыгнул. Потому что передняя шасси была перебита и болталась. То есть он мог только прогнать самолет до конца взлетной полосы, сбросить газ и носом уткнуться самолет в снег. Если бы штурман сидел в своей кабине (он впереди сидит), то всмятку. Видимо, нельзя было пролезть штурману к летчикам: он как сел, так и сидит там. А мы говорим: «Ну как?» — «Ничего, к вечеру дойдет». Вот это запомнилось.

Потом, что интересно. Когда мы ходили на ужин, на завтрак в столовку, нам обязательно давали выпить кружку хвойного настоя. Запаривали хвою и нам давали выпить, чтобы не было цинги. И цинги никакой

не было.

Так мы провели на этом фронтовом аэродроме... А их было два: Малая Ваенга и Большая Ваенга, теперь Североморск. Эта певица Елена Ваенга родилась в Североморске, она взяла себе псевдонимом старое название Североморска — Ваенга. Таинственно звучит: никто же не знает, что такое Ваенга. А там речка Ваенга, Верхняя Ваенга, Нижняя Ваенга — поселки. Грязная Ваенга. Я ее страшно люблю и ценю, потому что она мою молодость воскресила. Она воскресила название моего фронтового аэродрома, на котором я несколько месяцев провел, будучи в учебном батальоне.

Военное училище

Где-то летом уже, в июне, пришел приказ верховного командования: 26-й год рождения отправить по военным училищам. Оказалось, что выбиты командиры, не хватает специалистов в авиации, в артиллерии. Везде специалистов не хватает. А 26-й год имел семилетку. Это последний год, который чему-то учился. В войну же года два-три школы не работали: во всех школах были госпитали. Таким образом, хоть среднее неполное образование имел только 26-й год, и решили: раз они хоть чего-то знают — в училище.

Нас опять погрузили в эти машины, но уже был полярный день, и мы видели, мимо каких пропастей проезжаем, где мы ночью могли свалиться тогда. Проехали, посадили нас в поезд и привезли в город Пермь. Тогда он назывался Молотов.

У меня есть книжечка, которая называется «Скоро ежики проснутся». В этой книжечке я пишу про наших правителей. Они не любили называть вещи своими именами. Но они любили называть своими именами города, заводы, колхозы и так далее. У меня в этой книжечке есть такой раздел, называется «соцреализмы». Вот там мои всякие прибаутки.

Короче говоря, привезли нас туда — нету светомаскировки. Это можно сойти с ума. Что такое светомаскировка, я забыл рассказать, когда говорил про первый год войны. У всех черная, светонепроницаемая штора, которая вечером опускается. Светомаскировка, чтобы невидно было, где город. А здесь нет никакой светомаскировки. Еще на улице, чтобы люди себе не квасили носы, не падали, бордюры на тротуарах и углы домов были покрашены белым цветом, белилами. Темно же, ни огонька, ничего, ночи темные, а белое все-таки видно, когда близко подойдешь. Вот что значит светомаскировка, а здесь никакой светомаскировки.

Господи, матрасы ватные, пером набитые подушки, свет! Боже, какая красота! После этого фронта... Курсантский паек тоже был хороший, не уступал фронтовому. Может, немножко хуже был, но все равно. С этой точки зрения, было замечательно. Нас почему-то опять поставили принимать присягу. Мы на севере уже приняли присягу. Значит, кто-то не записал нам что-то. Таким образом, я присягу принимал дважды: на севере на аэродроме и в училище.

Нас поместили в карантин. Вывезли на технический аэродром. За Камой был аэродром. Мы там в палатках были какое-то время. Там я познакомился с ребятами. Были москвичи. Один был Коля Привалов, второй был Семён Двоскин и третий — Лёва Лебедев. Москвичи, четверо. Мы подружились все. После училища мы попали в разные части. Я отдельно буду рассказывать, как мы с Колюней. Мы подружились на всю жизнь. Единственное, наш Лёвка Лебедев в какой-то момент окончил институт и исчез. Он кончал что-то по атомам или по ракетам, его засекретили, и мы больше о нем ничего не знаем. Значит, он был где-то в закрытом заведении. Иначе бы он возник. А эти ребята — мы все друг с другом общались.

О друзьях по военному училищу

Потом я расскажу, как я в «Огонёк» попал. Это особый рассказ. Когда я уже был в «Огоньке», от нас ушел замредактора и стал главным редактором газеты «Труд». И он мне позвонил — Борис Сергеевич Бурков.

Во время войны он был главным редактором «Комсомолки», а потом был заместителем главного редактора в «Огоньке». Когда я пришел, главным редактором в «Огоньке» был Сурков. Значит, он был у Суркова заместителем. Потом Бурков ушел, когда назначили Софронова главным редактором. Он дня не был, даже не пришел больше в редакцию. Он ушел, не стал с ним встречаться и стал главным редактором «Труда». Вот он мне позвонил. Говорит: «Мне нужен фотограф. У тебя есть какой-нибудь хороший фотограф? Мне нужен. У меня слабый завфотоотделом, мне нужно подкреплять». Я говорю: «Есть отличный парень!» А Колюня в это время устроился в ЦАГИ. А вольнонаемным, гражданским там платили копейки. Очень мало платили. Я ему звоню, говорю: «Колюня! У меня тут есть место для тебя!» — «Да, давай!» Я звоню и говорю: «Борис Сергеевич, придет Привалов Коля. Партийный, честный, хороший фотограф». — «Пусть приходит». Пришел Колюня и остался в «Труде» — это был 53-й год — на всю жизнь. До пенсии он в этом «Труде» проработал. Но про Колюню потом будет еще рассказ отдельный.

Семён стал работать в летном НИИ, которым командовала знаменитая Валентина Гризодубова, где Раменское, Жуковский. Там военные испытательные эти, он работал на фотоаппаратуре, кинофотоаппаратуре... В общем, какие-то бомбардировочные установки, всякие штуки. Семён как инженер уже работал. Мы с ним дружили тоже. У него родилось четверо детей. Всех я ему привез из роддома. И самая младшая — моя наследница, наша с женой крестница. Зовут ее Вероника. Вот такая судьба. Мы познакомились на этом техническом аэродроме в июне 44-го года. С тех пор мы были неразлучны (наша эта группа), хотя мы в разных частях были. С Колюней были в одной, а Семён и Лёвчик оказались в Приамурье. Но это другой рассказ.

Полевая почта

Е. Г.: А с мамой вы поддерживали связь в эти годы?

Ю. К.: Да. Надо сказать, потрясающе работала полевая почта. Письма шли туда-сюда, туда-сюда — от мамы письмо мне и от меня маме. Потом на фронте появился папа. Папа же два года пропал: он был в плену. Я не говорил про это?

Е. Г.: Нет, вы ничего не говорили. Вы забыли как-то.

Ю. К.: Да, папа был в плену. Я отдельно потом расскажу про папу. Он тоже появился опять на фронте. И вот между тремя полевыми почтами шла переписка у нас. Еще в училище и потом в части у нас шла переписка. Полевая почта работала шикарно. Единственное, если что-то им не нравилось, они черным зачеркивали. Зачеркивали черным, что нельзя было говорить. Я рассказывал в прошлый раз, как мой друг Сашка мне писал из Гороховецких лагерей, и одна фраза была зачеркнута, и только было: «Но кормят вкусно».

Е. Г.: Да, говорили.

Ю. К.: Это я рассказывал. Вот так работала цензура. Вы представляете, они должны были каждое письмо просмотреть и убрать все! Кроме этого, почта эта работала. Вот была такая штука.

Занятия в училище

Начались занятия в училище. Занимались по шестнадцать часов в день, потому что мы должны были за один год пройти трехгодичный курс. Война. Вкальвали мы жутко. Днем один час на сон давался. Стоило только к подушке прикоснуться — ты уже спишь! Раз — и готово! Отключился! Потом подъем — поскакали все. Я еще забыл сказать: когда мы на аэродроме были на войне, то иногда мы по двадцать часов не уходили с аэродрома. Но надо поспать. Ложились прямо в снег: одни — вниз, другие — на них сверху! В два ряда! Полчаса сон, свисток: верхние — вниз, нижние — вверх. Полчаса сон — поскакали и пошли опять работать!

Е. Г.: Здоровые были!

Ю. К.: Молодые, здоровые. Зато после войны, когда я в училище пришел, у меня такой открылся фурункулез, что вся шея была в фурункулах. Но для меня это была большая удача, потому что меня освободили от строевых занятий, от строевого часа. Когда все шли на строевой час маршировать, я шел в санчасть прогреться. Так что тут мне повезло. Но самое интересное, что никаких следов не осталось у меня. Обычно от фурункулов остаются следы. У меня никаких следов от фурункулов не осталось. Больше не могу, устал.